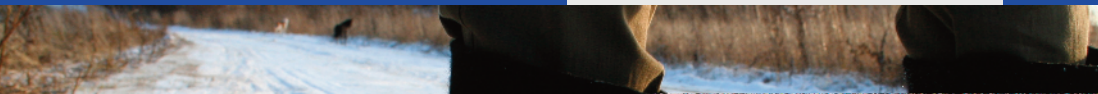


Ната Сучкова



Деревенская
проза

Ната Сучкова

Деревенская проза

Москва

«Воймега»

2011

УДК 821.161.1-1 Сучкова

ББК 84 (2Рос=Рус)6-5

С91

Н. Сучкова

С91 Деревенская проза. — М.: Воймега, 2011. — 76 с.

Вторая книга стихов Наты Сучковой — это попытка разговора о простых, неурбанистических, в чём-то даже провинциальных понятиях и вещах, которые, тем не менее, и составляют стержень бытия. В 2010 году «Деревенская проза» стала победителем Международного Волошинского конкурса в номинации «Рукопись неопубликованной поэтической книги».

ISBN 978-5-7640-0122-7

Дизайн серии — Сергей Труханов

© Н. Сучкова, текст, фото, 2011

© С. Труханов, оформление, 2011

© «Воймега», 2011

* * *

Огромный сад, заросший сеткою-рабицей,
какая летом попадёт в неё рыбица?
Какое яблочко тебе глянется,
такое сразу в твою руку и снимется.
Ну а пока здесь холода лютые,
дымки печные, петухи леденцовые
на неподвижных золотых флюгерах
из-под крыла и головы не высовывают.
И никаких грибников-дачников,
панамок белых, рыбарей в кепочках,
лишь раз в неделю молчаливые мальчики
в сельмаг соседний уезжают за хлебушком.
И на «буханке», как жестянке заржавленной,
громокипящей, тарахтящей, воскресной,
привозят бабкам по буханочке рж́аного,
а деду — кое-что интересней.
Морозен хлебушек, буханочки твёрдые,
так звонко, молодо — не властно и времечко —
сильнее, чем я здесь гремлю вёдрами,
перекликаются и брякают мелочью.
И наполняется заря мёдом
и через край на землю сонную льётся,
и льдом подёрнется вода в вёдрах,
пока до дома донесёшь от колодца.

* * *

Сегодня, я вижу, особенно... Вижу особенно чётко заплаканный берег реки этот, пористый, илистый, как та пожилая собака становится глупым волчонком и тявкает звонко, и зубы молочные выросли.

Предательский ватман, дневник безобразен — подчистка, и вместо тачпада твой палец мушлякает прописи, из домика дачного вышел вихрастый мальчишка в рубашке с кириллицей «Олимпиада-80».

Ты знаешь, за эту рубашку я Bosco последний отдам, я буду торчать до победного на остановке, послушай, далёко-далёко изысканный движется кран с вертящейся в башне фарфоровою комсомолкой.

Что озеро Чад, что футболочка модная с Че?
Дулёвское тесто, но руки сработаны тонко!
Я вижу знак качества, что у неё на плече, —
как дерева тень, как японская татуировка.

Сегодня я вижу особенно, ты, разумеется, прав:
меняется всё — что-то сдвинулось в этих слагаемых.
Ты знаешь, у порта речного изысканный бродит жираф,
а в нём крановщица, как прошлое, недостижима.

* * *

Допустим, маленькая я, как ты, допустим,
мелькают спицы, крутятся педали,
и всё-таки — тебя нашли в капусте,
ну а меня в каком цветке сорвали?
Большого непутёвого ребёнка,
вертящего огромной головой,
в каком, скажи, из сахарных и тонких,
из тех, что распускаются зимой
на мёрзлом огороде бабы Вали,
где неба лоскуток и тот поблёк?
Какие птицы мимо пролетали
и обломили тонкий стебелёк?
Кого из ваших, найденных в капусте,
не грызла поедом убийственная зависть
к тому, что — здесь немножечко пропустим —
и что меня принёс, конечно, аист.
К тому, что папка мой по снегу едет,
и след колёс так на снегу отчётлив,
на «Аисте» — складном велосипеде —
с победным воплем радостным: «Девчонка!»

* * *

Тёплое облако синее
можно поймать за хвост,
даже не нужно усилия —
выпрямись лишь во весь рост.
Солнце блестит на радужке,
пар преломляет свет,
синее облако — бабушка,
белое облако — дед.
Ты всё такая же вредина —
прыгни — раз, два — и повис,
вон от её передника
свесился краешек вниз.
— Бабушка, видишь, там радуга?
Как мне достать до тебя?
Только она, аккуратная,
фартук уже прибрала.
— Спи, мой хороший, полно-ка,
я ведь и так с тобой, —
и укрывает облаком
с вышивкой набивной.

* * *

Эта маленькая пекарня, этот тонкий дух дрожжевой,
я стою под ним — привыкаю, как под тёплой водой дождевой,
как куличики выпекаю из речного песка на песке,
а вода в рукав затекает и становится хлебом в руке.
Эти удочки — бога ради! — эти скользкие камни на дне,
Александр Анатолич — блокадник, я гуляю с ним по воде.
Форму круглую доставая, белый мякиш смотря на просвет,
дома бабушка молодая нас давно уже ждёт — обед.
Эта корка — спеклась и прогоркла, почему мне при нём — опять! —
почему мне так страшно неловко даже корочку пусть оставлять?
Невозможно и невыносимо то, что это увидит он, —
почему мне даётся насильно этот сладкий мучительный сон?
Этот берег — в ветвях заскорузлых, эти камни — на скользком дне,
этот воздух — тяжёлый и вкусный, точно хлеб на войне и не.

* * *

Вот и стали мы большими, вот, смотри, и стали,
а когда-то, оглянись, в детском декабре
всё, что было ледяным, делалось из стали
и стояла круглый год горка во дворе.

Всё тогда вокруг меня было из железа:
молока кривой бидон, дедовы часы,
выходил с ведром сосед, не сказать чтоб трезвый,
кашу снежную пихал горке под язык.

И соседова жена делалась из стали —
выносила синий шланг в шлёпках на балкон:
точно бедного слона, горку поливали,
и гудела малышня, и дымился слон.

Шкура дыбилась, росла, намерзала доверху,
и крепчал, крепчал мороз, и трещали кости,
но торчали на сарайках, точно шляпки кровельных,
терпеливые мальчишки, крепкие, как гвозди.

А теперь куда, скажи, подевались, мало ли —
ну кому, как не тебе, задавать такое! —
поступили в цирк заезжий, вымерли, как мамонты,
эти горки ледяные с хордою стальнойю?

И ещё скажи теперь, милая снегурка,
как ты выбирала их в детском декабре —
самых твёрдых и стальных, но и самых хрупких —
первых разбивавших нос на твоей горе?

* * *

Такие вот у них теперь проверки
— о доблестях, о подвигах, о славе —
тягаться, кто быстрее на фанерке
с поджатыми под задницу ногами.
Потом вдруг — раз! — и обманули их,
моргнул, и вдруг — шестидесятые:
отец склоняется прикуривать
безногую из тридцать пятого.
Молчат картёжники отпетые,
тот хочет круг на кон поставить,
он — лёгкий, и десятилетние
его спокойно поднимают.
Он тает, он покрыт испариной,
он помнит сладость преферанса,
но на его тележке маленькой
никто не хочет покататься.
Тебе ж расплата уготована,
позор при всём честном народе:
отец бросает беломорину
и за руку тебя уводит.

* * *

Худенький, маленький, третий — побойче,
— ну и чего ты им, паря, расскажешь? —
мамка — уборщица, пьяница — отчим,
школьные завтраки — снежная каша.
Старая церковь — окно заколочено,
на штукатурке — размытый Спаситель,
то, что тебя не желают по отчеству,
бог с ними, паря, ты просто — учитель.
Это такая мрачная физика,
грустная химия, паря, а хули?
Вот они слили немножечко дизеля,
вот они троицей всей заглянули —
шифер продмага — подол плиссированный,
чтоб попросить, как им кажется, басом
баночку мёртвой воды газированной
к паре чекушек с живою без газа.
И никогда это время не кончится —
ты понимаешь своей тонкой кожей,
пусть хоть кого-то запомнят по отчеству,
хоть Александра Сергеича, может.

* * *

Спотыкаясь у школы — не бывает, увы,
у дороги грунтовой лицевой стороны,
ты идёшь по изнаночной сквозь замёрзший пустырь
с хрупким днём, как на палочке петушком расписным.
День морозен и розов, с золотым гребешком —
преломляется воздух сквозь пустую башку,
ах, одёжка сусальная, о, молочная плоть, —
может просто растаять, а может вдруг уколоть.
Через край переполниться или клюнуть, как птица,
никогда и не вспомниться, никогда не забыться.

* * *

Как новогодний орех — серый, лежалый, прогорклый,
вот и опять на реке тонкая зимняя корка.
Если сейчас этот лёд, топнув, сломать ногами,
видно, как из-под неё облако вытекает.
Нет никого, смотри, чтобы тебя застукать, —
облако, а внутри — липкое, как микстура.
Нужен всего глоток тем, кто, как ты, простужен,
пробковый поплавок крошится, как горбушка.
И, постояв на краю, раз ты сейчас волшебник,
выждать, пока в полынью спустится серая шейка —
не улетевший нырок, птица из пуха и веток,
лёгкий, как поплавок, не нужный, увы, до лета.

* * *

Коньками нацарапанный,
пробитый до воды,
как детские каракули,
висит над домом дым.
Несёшься вверх, ужаленный,
пчела поёт во рту,
а дым — он отражается,
засахарен во льду.
Рисуют ноги кренделя,
и вертится земля,
с тоскою смотрят на тебя
твои учителя.
Блестят надменные очки,
и лепятся правее
твои — с натяжкой — троячки
по чтению и пенью.
Но что они ни говорят,
ты знаешь, будет твёрдой
по рисованию твоя
небесная четвёрка.

* * *

Такой мороз, что, коль придёт охота,
он каждого раскрасит и прищучит:
у юношей, расписанных под готов,
матрёшечные розовые щёчки.

А пацаны отхлёбывают пиво,
как гусаки в кругу своём бахвалясь,
и ходят кадыки нетерпеливо,
гусиной синей кожей покрываясь.

Вертлявая кружится собачонка,
и целый воз с визжащей детворою
прёт в гору невесёлый мужичонка,
похожий на античного героя.

А рядом — стайка маленьких продрогших
девчушек на фигурках остроножных
суют десятки мятые в окошко
под вывеску щербатую «М о р о ж н о ».

* * *

Ходить по замёрзшей воде всё равно что ходить по дну,
всё равно что смотреть в синеву из самого-самого дна,
и в каждой встреченной — видеть тебя одну,
и в каждом встреченном — подозревать удар.

Ходить по замёрзшей воде — забава окрестных мест,
студентки педунивера, продрогшая пацанва,
вот они катят с палками лыжными наперевес,
выхватываемые из сумрака светом далёких фар.

Ходить по замёрзшей воде всё равно что кричать вдогонку,
всё равно что с горла́ хватить с минутными (на́век!) друзьями,
встречая по восемь раз одну и ту же болонку
с одною и тою же маленькою хозяйкой.

Ходить по замёрзшей воде всё равно что под гору мчаться,
всё равно что мороз крепчает, а ты уже еле живой,
ходить по замёрзшей воде всё равно что всегда возвращаться
под песенку эту про *эли с тошкой домой* домой.

* * *

Городишко захолустный: винстон лайт да телик,
Убредёшь к часовне разве, подгоняем ветром,
Подойдёт к ограде робко, тихо спросит время —
Никогда здесь не бывало никого с мольбертом!

Широко расставив ноги, смотрит-ротозеет,
Имя спросишь — не ответит, кажется, с приветом,
В синих штопаных рейтузах, в кофте бумазейной,
С оглушительно шуршащим на ветру пакетом.

Городишко захолустный — росчерк карандашный,
Капнешь масло на подрамник, и сугробы — тают.
Улыбнётся, снова спросишь, тётка крикнет: «Машка!»
Городок провинциальный — все друг друга знают.

На пакете у Маруси золотое «Gussi»,
А в пакете банка с красным краснодарским чили,
Что она ни скажет дома — ни за что не пустят,
Есть ли кто ещё в ответе, чтобы приручили?

* * *

Мелкий берег, осока, коряги,
на остывшей завода трубе
он три главных своих накарябал:
Севастополь — морфлот — ДМБ.
Вдоль забора скользнул и — порядок,
закурил, привалился плечом,
наклонился за мятою флягой,
запечатанной сургучом.
В этой рому уж верно не булькать!
Потряси, посмотри на просвет:
упадёт леденцовая пулька —
мандаринное монпансье.
Среди крошек табачных, опилок —
только палкой, похоже, достать —
старой лоции липкий обрывок,
слишком бледной, чтоб прочесть.
От каких же морей средиземных
до забытого Богом пруда —
чей-то шёпот, мольба о спасенье?
Чья-то шутка, насмешка, игра?
Верно, тут ничего не поделать —
сколько носит матроса земля,
всё скрипят на груди его белой
нарисованные якоря.

* * *

На этой земле есть его отпечаток —
есть то, что испорчено, сломано.
Ворона на ветке сидит, как перчатка —
потерянная, огромная.
Он ходит с завязанными глазами
по улицам и по аллеям,
как будто к дорогам его привязали,
как будто летать не умеет.
Как будто он то, что когда-то запомнил,
в себе в сотый раз повторяет,
а крик догоняет — картавый, вороний —
и в спину его ударяет.
Обветрены руки и ржаво-кирпичны —
цветут, как по ситцу гвоздики,
и гаснет в нём крик, точно благовест птичий
во колоколе безъязыком.

* * *

утоли пепси-кола его печаль,
вот шпана стреляет из пугача
по пустым жестянкам пузатым,
он поставит свою между невским и спрайтом:
«вы мне пульку одну, пацаны, оставьте,
поиграем в войнушку, яволь?»
рукоять потеет и трёт ладонь,
снег, крошенный крупно, блестит, как соль,
поднимается тёплый ветер,
еле слышно — никто не заметит —
проведёт по затылку легко,
он стреляет, как пьёт, в молоко.

* * *

Там, где прячется солдат в голубые ели
и сжимает автомат крепкая рука,
две молочницы стоят, икрами белеют,
и клубится молоко в тучных облаках.

И одна из них держится за бидон,
а вторая придерживает подол
юбки гипсовой ситцевой из сельпо,
будто Мэрилин Монро, как в кино.
А солдатик, тот, что сзади их притаился,
на ветру за столько лет облупился,
временем не съеденный, но надкушен,
в ссадинах, отметилах и веснушках.
Выросли-состарились рядом ели,
что ты, брат, уставился, в самом деле?!

Ну, а что он затевал, нам уж не проверить,
куда тянется его битая рука —
то ли к крепким молодым гипсовым коленям,
то ли просто хочется парню молока.

* * *

Чуть дребезжа на ухабах и кочках,
в синее небо влетает легко
зиловский белый звенящий бидончик
с синими буковками «МОЛОКО».
Пеною облачною вдоль бортов,
точно каёмочкою, перетянут,
с брызгами тысячи мотыльков
на лобовом, и — в яму.
В яму небесную — наверняка,
это тебе не в воду,
это молочная, братец, река,
в ней не бывает броду.
Но за баранкою — вырви глаз! —
ржёт морячок с подлодки:
— Плавали, знаем! — и жмёт на газ,
и снова летит проселочной.

* * *

Дура-дура-дурачок,
взявший денег под отчёт,
он придумал, как потратить их —
на дешёвый коньячок,
целый день торчит на кафедре,
вымогая свой зачёт!
У него очки неброские,
рюкзачок через плечо,
но как скажут вологодские,
ну дак чё?
У него все «чё» да «давеча»,
у него глаза навькате,
он стоит с пакетом-маечкой,
что ему на кассе выдали.
У него усы молочные —
не растут свои пока,
и никак ему не хочется
на условного врага!

* * *

Впереди бежит собака, а за ней идёт отряд:
эти девочки на лыжах — не спортивные ни разу,
эти палки не по росту, эти варежки во стразах,
бубыль-гумы, бубыль-гамы изо ртов у них парят.
Я не знаю, с чем сравнить их лыжный ход, скажу иначе,
этих ветром не продует, просто сразу — унесёт,
точно бегать на ходулях, точно плавать по-собачьи,
по физической культуре однозначный незачёт.

Но физрук по кличке Циркуль явно думает иначе,
что физической культуры у девчонок — перебор,
он задумчив, он рассеян, и вихор его взбуглачен,
он поддерживать не в силах самый лёгкий разговор.
— Плугом, плугом тормозите! — он стоит внизу, растерян,
и в глазах, как небо синих, — серый снег и серый лёд:
«Что же делать по весне нам, когда мы пойдём в бассейн
и культура из студенток ещё более погрёт?»

* * *

Девочки идут на лыжах,
мальчики — в военкомат,
белый дым летит пожиже,
серый — гуще во сто крат.
Серый топится соляжкой,
как в потёмках, в том дыму
кочегары в кочегарках
крутят серую махру.
Белый топится дровами —
невесомый, точно вата, —
над девчонок головами,
и над станцией юннатов,
и над флигелем больничным,
точно снег, его крошат,
выбирает симпатичных,
забирается под шарф.
На крылечке две медички
быстро курят, кривят рты,
разгоняя рукавичкой
серый дым и белый дым.

* * *

Я думала, их уже не существует,
но вот они здесь — салют! —
берёзы, в которых девчонки курят,
в которых мальчишки пьют.
Такие же тонкие, с белой кожей —
тычинки и волосы,
берёзы, в которые тыкали ножик
и вдруг обнимали с тоски.
Свидетели бурных районных разборок —
нередких, увы, по пьяни,
свидетели громких ночных разговоров
и нюханий всякой дряни.
И если здесь что-нибудь с ними сравнится,
то только — приятель, дай пять! —
кусты, куда девочки бегают писать
и ходят мальчишки ссать.

* * *

Река собирает молочные пенки —
совсем оголились её берега,
сверкают замёрзшие пни и коленки
девчоночьего ивняка.

Вода подо льдом отошла в середину,
по тонкому жёлобу катит, легка,
замёрзла зелёная, серая тина —
косматая баба Яга.

Натужно скрипит и грозит заскорузло —
вот мягкое-то надерёт! —
любому нахальному — эй! — карапузу,
рискнувшему съехать на лёд.

Он слушает сказки, и слово *пороша*,
нет, с толку его не собьёт,
снег крупно посолён и крупно накрошен
и будто бы просится в рот!

Он сладкий? Он вкусный? Он лучше варенья?
Ну что же, приятель, айда!
...Ещё один рот приоткрыт в изумленье,
что снег — это та же вода.

* * *

Дремлет телёночек му-шоколадный, крыша сарая — под снегом.
Думает, ладно — ну надо так надо — это возьму с разбега.
Дремлют-слезятся солёные карие, выпуклые, как брошки,
где там под яблоней косточки мамины, мамины рожки да ножки?

Где-то под яблоней — вот и не страшно,
дремлет-вздыхает по-взрослому,
спят пёс цепной и котяра домашний, точно в стихах Заболоцкого,
спят невесомые реки и раки, думать немогуту:
эта вот косточка будет собаке, эта вот плоть — коту.

Спит шоколадный телёночек маленький, как боровик в корзинке,
и вытирают нянюшки-маменьки мальчиковы слезинки.
Мальчику грустно, но мальчику верится — да, это дело решённое,
что из телёночка вырастут деревца — персиковое и вишнёвое.

* * *

Вдруг в раю пошёл снег. Невесомый, крахмальный,
он мешается с бабочками, мотыльками,
он идёт, будто снег, он кружится, он липнет
на ресницы огромных дрожащих колибри,
и визжащие дети, распробовав — сладкий! —
ловят снег в кружевные сачки и панамки.

Добродушный медведь, вдоль прибоя пошлёпав,
собирает, ворча, их сандайки и шлёпки,
закрывает сундук, полный сахарной ваты,
на тележку относит и сам виновато
в толкотне, беготне — снег идёт настоящий! —
наполняет им трубочку — сладким, хрустящим.

Спит под деревом волк, километры набегав,
и ему снится снег, много белого снега!
Обнимают за шею и треплют за холку,
одного не хватает чудесному волку,
спит под деревом волк — у него выходной.
Снег идёт и идёт — очевидный такой.

* * *

Этот дед — он ёлку не наряжает —
у него целый лес их под снегом и льдом,
он один здесь — велик и самодержавен,
разве только собака седая при нём.

Разве только собака — визирь и советник
и тепло живое и благодать,
понимает, просто не может ответить,
для кого тут ёлку-то наряжать?

Прихватило спину, и дом простужен,
помирай, пехота, а всё ж — топи!
А не то зима полыхнёт снаружи
и сама согреет тебя внутри.

А затопишь — окна пошли капелить,
под очками мокро — едрить-етить!
Для кого тут ёлку-то канителить,
недешёвую вату, поди, изводить?

Виновато псина голодная бродит,
кашу в печь поставить пора — обед.
Для кого тут ёлку-то хороводить,
что ли дела другого у деда нет?

Отсырели грибы, их достать для сушки,
и за рядом луковых тусклых гирлянд
ангелками, морщинистыми, как старушки,
на запутанных нитках они парят.

* * *

Спит Адам в саду соседском
на цепи колодезной,
спит Адам, и только сердце
изнутри колотится.

Рвётся бедное зачем-то,
где искать его к утру?
Разнесёт, рассыплет в щепки
грудь его, как конуру.

Выйдет дедка с коромыслом,
а цепочка порвана,
посвистит, потом присвистнет,
сапогом потрогает.

Спит Адам, а снег не тает,
намерзает возле рта,
и волчица вырастает
из адамова ребра.

* * *

О, маленький вертеп! Навертено
из ваты агнцев, и над головой —
все звёзды из фольги серебряной,
а Вифлеемская — из золотой.
У входа в храм прибита вешалка,
и снимали ходоки —
как шкуры тварные развешаны,
дымятся их пуховики.
И воском и смолой закапаны
венецианского стекла
шары, и ёлка тёплой лапою
мне по запястью провела.
Горел над слободой барачною
фольгой сусальной небосвод,
когда в мороз из церкви праздничной
притихший вывалил народ,
старик из дома двуэтажного
понёс отхожее ведро,
и улыбнулся, и закашлялся,
и это — тоже Рождество.

* * *

Стоят, сполна всего помыкав
среди затоновской шпаны,
у бара «Золотая рыбка»,
торжественные, как волхвы,
чернее угря Вася-Череп,
белее моли Ваня-Хан,
стоят в рождественский сочельник,
фанфурик делят пополам.
И мимо них — куда им деться?
не раствориться никуда —
везут на саночках младенца,
и загорается звезда.

* * *

В храме на Покровке много лет назад
по-калмыцки ловкий разливал солдат,
точно дорогое ставил угощенье,
с поварской сноровкой воду на Крещение.
Пар над ним клубился, звон дробился тонкий,
под ремень забился фартук из клеёнки.
В двери напирала — вот пошла работа! —
набивала храма золотые соты,
прибывала, брякала, кашляла, текла
с бутылками-банками мёрзлая толпа.
— Эй, давай, солдатик! — лысина, платочек, —
помоги-ка, братик! Подсоби, сыночек!
В генеральской даче окна закопчёны,
звали не иначе — чурка некрещёный.
— Ну-ка, загорелый, помоги старушке!
И вода блестела на его веснушках.
Я наверно знаю: он сейчас живой,
пулевой не взятый, цел от ножевой,
из железной кружки за свои труды
скромно отхлебнувший ледяной воды.

Баба Маня

Баба Маня помнит все остановки между
(вот я уже забыла!) Белоозером, кажется, и Выборгом,
потому что в сороковом по электричкам прыгала,
ездила со своей хозяйкой, у которой жила в няньках,
то, говорит, за одеялами, то за матрасом,
ей тогда было шестнадцать, а теперь — восемьдесят три...
И ещё много чего говорит.
Телевизор мигает, горит,
смотрим-глядим
краем глаза
авантюрный фильм
«Если наступит завтра»,
где записная красotka похищает алмазы
с помощью хитроумных коварных планов.
«Ну, это что, — говорит баба Маня, —
вот в Ивакине одна бабка бабой Ягой наряжалась,
в фуфаечку чёрную обряжалась:
дети в бору наберут ягод полны корзинки-лукошки,
а она волосами лицо занавесит,
и из кустов на них лезет,
и из кустов их пугает,
ну, ребяташки и убегают,
лукошки, понятное дело, бросают,
а она ягоды себе ссыпает
и дальше как будто сама по себе гуляет.
Ну да в отличие от красотки, которую не поймали,
бабе Яге той ивакинские мужики всё же накостыляли!»
Вот такая у нас баба Маня —
кажется, только соплевичок в кармане
или ещё что неполезней,
а чего спроси, так за словом туда не полезет!

Я ей говорю: «Баба, какая у тебя память!
И почему ты у нас не профессор!»
А она отвечает: «Какая уже профессор,
четыре класса, а дальше ученье не лезло,
в десять лет на площадке в няньках гуляла,
но на самом-то деле уже во втором ничего не понимала:
сидела рядом с парнишкой (она и имя его называла),
списывала у него ответы на задачки,
а чтобы не поняли, что списала,
строчки местами меняла.
А учила знакомая папки — так меня и не вызывала.
А считать-то только в Ленин-уж-граде выучилась на счётах,
а когда учиться пришла охота,
так война началась, окопы,
так вот и пишу всю жизнь плохо,
и говорю плохо...»
А мы сидим в своих высших
и только глазами хлопам.

* * *

На бумаге в печати офсетной
полновесные, точно слова:
телевизор, накрытый салфеткой,
пульт, завернутый в целлофан.
И болоньевый плащик продрогший,
перевёрнутый ковш на бачке,
чуни, тапочки и калоши,
удилок с поплавком на крючке.
Всё прямое, жилое, живое,
только фикус усами поник,
где хозяин — ушёл за водою?
Или выскочил в дровяник?
Хлопнет дверь, заскрипят половицы,
и с мороза потянет дымком,
упадут на приступок голицы
с жирным масляным ободком.
И, обив об порожек ботинки,
он шагнёт раскрасневшийся, важный
в чёрно-белую эту картинку
из районной многотиражки.

* * *

Непреклонная, корабельная —
век ей здесь ещё простоять! —
самое высокое дерево
выбрали за гордость и стать.
В трещинах, распилах и рытвинах,
ставшую в минуту бревном,
увезли, брезентом закрытую,
и залили в серый бетон.
От ветвей её покалеченных,
путаясь, пошли провода,
но однажды с крыш человеческих
полилась живая вода.
Всю-то ночь рыдала-капелила,
а к утру схватилась в лёд:
выросло хрустальное дерево
там, где ничего не растёт.

* * *

Бомбардировщик пузатый,
страшный, как будто не наш, —
сéребро-сéребро, сéребро-злато,
алюминиевый фюзеляж.

Вот — точно песня — работа!
И улыбается в нём
старший сержант Николаша Федотов,
N-ский аэродром.

Было б чему улыбаться!
А почему бы и нет?!
Вон притаился за стенкой акаций
шурина старый мопед.

Вон огородик соседа:
пасека, пара овец,
в карте зелёной читается бледно
надпись «Череповец».

Сам он выходит податый,
в небо глядит веселей,
бомбардировщику машет лопатой,
маленький, как муравей.

Старому много ли надо?
Сунувшись в спичечку «Примой»,
в танце безудержном крутит лопату,
лёгкую, как балерина.

Ах, балерина босая!
Ох, разъетить его в бок!
И, чертыхнувшись, в небо бросает
вспыхнувший вдруг коробок.

Через сосновые ветки
видит, как выше пошёл он —
самолётик со спичечной этикетки,
с краю чуть-чуть прожжённой.

* * *

Хорошо ли, плохо ль за морями —
я стою под проливным дождём,
на земле с неровными краями,
так уж получилось, мы живём.

Широка страна моя родная —
затаись, притихни, акимышь,
почему же каждый раз у края,
где бы ни стоял ты, ты стоишь?

Чёрные полоски под ногтями,
пальцы-плоскогубцы заскорузные —
дядя Ваня шарит на баяне
в кнопках незатейливую музыку.

— Льёт, как будто тут у нас град-Китеж!
Лей, но мимо рта не проливай!
Или ты, чудак, краёв не видишь?
Или просто здесь он, этот край?

Дядя Ваня жарит на баяне
широку страну мою весёлую
на земле с неровными краями
и, как стопки, круглыми озерами.

* * *

И открылась в сердце дворца...

Н. Гумилёв

И открылась в сердце дворца,
а в вокзале — форточка,
на причале не согреться —
замерзает лодочка.

Пусть буфетчица нацедит
из графина водочки
в лёд, который крепче цепи
держит эту лодочку.

Есть ли кто ещё здесь трезвый,
кто с дорожным посохом
по воде замёрзшей пресной
водит аки посуху?

От речного от вокзала —
корабли во льду по грудь —
остаётся только санный,
только снежный путь.

Ветер-ветер — вздох кобылий,
через раз, неумогу.
Ну же, лодочка, поплыли —
ничего, что ты — в снегу.

* * *

Каждый рыбак сидит на своём сундуке.
Каждый рыбак похож на замёрзшую глыбу.
Каждый рыбак держит в своей руке
удочку. Или радугу. Или рыбу.

Каждый рыбак готовит с утра западню —
донку и лунку, возле которых прыгать,
каждый рыбак желает поймать свою
радугу. Ветку донную. Или рыбу.

Вот он под небом как на ладони весь.
Вот он готовит правильные слова.
Быть так не может, чтоб не водилась здесь
щука железная, серебряная плотва.

А на обед он с перчёною байкой смакует
ложку ухи, над которой парит благодать:
был здесь один, который поймал золотую
и отпустил: ну чего тут ещё желать?

* * *

Вот он, волчина морской, держит рукою трёхпалую
маленький хрупкий лом, точно готовит побег,
на «Буревестнике» свет тусклый горит в нижней палубе,
а по колено на верхней — синий от солнца снег.

Вот и впустили его, нового постояльца,
в старый плавучий дом, брошенный на прикол,
пойманы рыбы все, что утекли сквозь пальцы —
те, с якорями синими, срезанные винтом.

Ватник трещит и борта — хрупкие от мороза.
Сколько они отслужили — каждый — солёных лет?
Вот потому у матросов если и есть вопросы,
то разве только к зюйд-весту, и ясен как день ответ.

Лёд, подожди, подвинется, снег, погоди, растает,
эта река — безбрежная, просто погода — зимняя.
Вот потому у матросов чёрных полос не бывает:
только полоска снежная, только полоска синяя.

* * *

На самолётных пóлосах
тает ультрамарин,
точно по небу белёсому
кто-то на лыжах катил —
шёл на предельной скорости,
гнал, не жалея сил,
только у края пропасти
плугом затормозил.
Снял скороходы зимние,
сбросил с руки темляк
и в сапогах резиновых
к краю пошёл вот так.
Это была лишь присказка,
в сказке, прости, — ничего,
лишь фонари разбрызгались
из-под шагов его.

* * *

Город как нарисованный —
чуть горизонт завален,
снег, сапогами спрессованный,
чёрен на пятнах проталин.
Дымкой река подёрнута,
но различаешь пока
снежную бабу топлёную,
тощего снеговика.
Он кое-где подштопанный,
видно — сработан грубо,
крутит огромным штопором
старого ледоруба,
валится — ёлки-зелёные! —
будто решился спьяну
бабу оставить топлёную,
взять и уплыть к океану.
Щупленький, ветки — бровками,
пот со спины капелит,
с кривенькими морковками —
пару не пожалели.
Льдина дырява — промоины,
крутится, дело — швах!
Держи его, эх, соломина,
на тающих ватных ногах!

* * *

Смотреть на оттаявшую реку:
царапиной лыжной чёрной
прогулочный катер на том берегу
как слово дурное подчёркнуто.
И сдут, отощали его бока,
лежащий у пирса бакен,
и дышит медленная река
вслед быстрой на ней собаке.
Собака не тает, как снег и дым,
и, кажется, нет важнее,
чем зрением видеть её боковым,
летающую по лыжне, и
вот облаком светлым над ней дрожит
её голубая попона,
собака, бегущая по лыжне,
похожая на дракона.
Бежит, спотыкаясь, лыжню строчит
со всех голубых прорех,
и рыженький куцый её торчит
перстом, указующим вверх.
Где мрачный хозяин один стоит
и смотрит, как под дождём
реки разматывается бинт
с прилипшей к нему лыжнёй.

* * *

я, говорит, в этом небесном баре
пью только самые крепкие и дорогие напитки,
я здесь единственный рассчитываюсь деньгами,
розовые браслетики, тоненькие кредитки,
весь этот ваш дешёвый олинклюзив небесный
не для меня, знающего о расплате.
я угощаю всех девушек в ситцевых платьях!

я, говорит, в этом небесном баре
надираюсь так, что небо мне по колено,
и угощаю всех женщин, которые мне не дали:
уберегла, сохранила, не захотела.
я здесь последний, кто ещё помнит земную
по дону гуляет жалобную алиллуйю.

у меня, говорит, блат в этом небесном баре,
и обеспеченный золотом всего мира
у меня советский мятый червонец в кармане —
я его сохранил на последнюю эту текилу.
золотую текилу с небесной слезой бармена,
такою же пьяной, как и моя, наверно.

Две реки

1. Римская

Там, где на вывеске синим написано «Вихрь»,
там, где в реку низвергается белая пена,
дядя Валера, как римский патриций, сидит
в тоге в цветочек, в своей простыне — гай Валера.
В духе берёзовом сходит к нему благодать,
точно младенец, кряхтит он и брови насупил,
он покупал и лавровый за сто двадцать пять,
но не понравилось — будто бы паришься в супе.
Мысли печальные, тёмные мысли оставь,
пенится пиво на дно жестяного поддона,
видится юной весталки священная статья
в облике нынешнем жаркой на кассе матроны.
Радиоточка шипит и эфиром плюёт,
и, ущипнув своё скользкое в мыле колено,
дядя Валера над Римом и миром плывёт
на невесомом на тёплом на облаке белом.

2. Египетская

Неспешная речка Тошня —
деликатный отжим,
а бабы бельё полощут —
поди сдержи!
Руками чугунными крутят —
дрожит броня,
несутся мостки и груди
на всех простынях!
В полоску, в горох, в цветочек,
в египетский конвалют,
вода, она камень точит,
ей — тьфу — верблюду!
Он выцвел, он, как нарочно,
чуть голубой,
летит над холодной Тошней
с надутой губой.

* * *

След самолёта — ребристый,
как по доске стиральной,
вниз облака стекают,
пенится всё вокруг.
Как тут остановиться?
Мир, точно фартук, засален,
и баба Галя стирает —
белую пену смывает
с красных варёных рук.

В тазиках у колонки
треники и сорочки,
льётся вода проточная
в разнокалиберный сброд,
старенькая болонка —
хочешь ты тут, не хочешь,
мыть тебя, Рекс, не потчевать! —
ждёт обречёно очередь,
нервно свой хвост жуёт.

Льёт баба Галя синьку,
вот уже тёмно-сине
небо схватилось цепко,
сохнет висит на жаре,
гладит — ворсинка к ворсинке,
чтобы подольше носилось,
чтобы держалось крепко
на голубых прищепках
в пахнущем мылом дворе.

* * *

Ну вот они, твои поводыри:
один — босой, худющий нестерпимо,
расчёсывает сладко волдыри,
ошпаренный кипящею крапивой.
Вторая — слёз фасетный отпечаток,
дороги эти поросли былъём —
большая чёрно-белая овчарка,
набитая, как ватой, репъём.
Ведут: забор, увитый повиликой,
колхозный сад, казённый небосвод,
где ты когда-то воровал клубнику,
хотя своей был полный огород!
Наверняка — чтоб видели в сторожке,
в земле и в сладком — липкая рука,
и представлял, как остро пахнет кожей
солдатский дедовый ремень из сундука.
Петлял как заяц, забирал правее —
брат чертыхнётся, бабушка — вздохнёт, —
хотя бы так, раз не дадут примерить,
хотя бы так — пусть пряжка обожжёт!
Через забор, увитый повиликой,
чтоб завтра предъявить всем на пруду
синяк на правой белой половинке,
похожий на солдатскую звезду.

* * *

На жёсткий мат идёт мягкий мат.
— Смотрите, ребят, она прыгает флопом!
Синицын умеет стоять на руках
И так — вверх ногами — хлопать.

И даже потом, через тысячу лет,
Он помнил, конечно, он помнил,
Какой был в зале тогда паркет —
Щербатый, кривой, наборный.

Футболка к спине загорелой липнет,
И тысячу, тысячу лет
Ей слышался этот дурацкий хлипкий —
С ног на голову — аплодисмент.

Резиной и потом по полу дует,
Гудят, наливаются плечи,
Синицын, конечно, назло ей умер —
Несносный старик, поперечный.

И если сейчас ей вдруг хочется прыгнуть —
В мечтах, например, во снах,
Синицын на тоненьких крыльях стоит там,
Как раньше стоял на руках.

* * *

Шепчет что-то своей кухне,
а твоей, стало быть, сестре,
ты же в круглых очках на резинке,
как обычно, на самом дне.
В их девчачьем чудном наречье
не понять ничего никак,
ты же с книжкой библиотечной
абсолютный опять дурак.
В затонувшем бесславно штампе
на странице, ну да, семнадцать
с длинноухой дурацкой шапкой
и на мостике капитанском.
Слёз солёных полны очки,
и по стёклам волну гонит крейсер,
всхлипни, шмыгни, ещё раз прочти —
и замри, и умри, и воскресни.

* * *

Когда, когда приснится это лето,
когда, когда оно ещё придёт,
чтоб целовать цветки, как сигареты,
и набивать их лепестками рот?
Их кожу тонкую пощёчины хлестают,
они растут, как на щеках горят,
я не плююсь такими лепестками,
я их глотаю, прячу внутрь себя.
Не потерять шмелям меня из вида,
жукам не заблудиться надо мной,
я здесь — цветками жёлтыми набита,
я здесь — налита розовой водой.
И так упасть, так заблудиться в этих
цветках — шмелей, жуков круговорот! —
как могут только мёртвые и дети,
всё дорогое прячущие в рот.

* * *

это не просто считалка, игра —
воздуха поцелуи,
ходит чужой, из чужого двора
с баночкой из-под шампуня.

выдоха мыльные пузыри
в радужных бликах на солнце,
у моего — всё дрожит внутри
и там, где тонко, рвётся.

вот я несю его в мокрой руке,
точно синицу мёртвую, прячу,
и это всё — о тебе, о тебе,
и не пытайся понять иначе.

* * *

точно карлик злой, этот мальчик злой
— сандалеты с биркой —
подошёл ко мне и меня стрелой
просто так потыкал.
посмотрел внимательно, помолчал
и к дверям подрапал,
волоча, как хвост, за собой колчан
на резинке слабой.
оглянулся — стыдно ли мне стоять?
видно сердце в дырку?
и ушёл обратно к себе играть
с голубой машинкой.

* * *

голубое-голубое
небо над причалом,
вот и сделала мне больно,
как и обещала.
мне не больно, мне не больно,
просто что-то вроде,
по причалу ловко ходит
персиковый котик.
мне не больно ни на йоту,
что ж это такое? —
обвалилось прямо в воду
небо голубое.
закрутила пароходик,
затянула полынья,
смотрит персиковый котик,
не мигая, сквозь меня.

* * *

Где два кота в кустах дрались,
там пух и перья драки,
сирень рассыпана, как рис,
наложенный собаке.
И в ночь уходит, побеждён,
облезлый старый кот,
собака дрыхнет под дождём
и ухом не ведёт.

И трепыхается, парит,
как будто бы живой,
забытый тонкий силуэт
на нитке дождевой.
Как на верёвке бельевой,
кольшется слегка,
не видно — белый, голубой? —
сирень иль облака?

То у тебя под окнами —
лютики-цветочки,
кружева намокли там
у твоей сорочки.
Под твоей сорочкою —
ни дождя, ни тени,
облетает клочьями
белое с сирени.

* * *

теперь твоя душа как бабочка легка —
она летит туда, куда её уносит,
дыханья моего, любого сквозняка
трепещет и дрожит, пугается и просит.
в заплаканном окне — на свет или на тьму,
на сахарный сироп, на мутную отраву —
она мне не нужна, оставь её тому,
кому она и так принадлежит по праву.

* * *

Ночью приснится тебе музей,
зверь краеведческий, тигр саблезубый,
только барашков бессонных успеи
ты от него под подушку засунуть.

Все пересчитаны, сложены в ряд,
— жутки полоски матраса! —
вот они тут, под подушкой, сидят,
только один — потерялся.

Здесь новогодний у них карнавал,
сон твой парит дирижаблем,
только барашек один упал
из рукава пижамы.

Утром проснёшься — мурлыкает кот,
свесилось небо в окошко,
а по нему потеряшка идёт
в розовых тоненьких рожках.

* * *

Её намеренья прозрачны,
как эта тонкая футболка,
где дышит на груди собачка,
весьма похожая на волка.
Но нет, она не будет слушать
(крутится молодым волчком!),
пока ты выбираешь грушу
с припухшим розовым бочком.
Скажи ей: яблоко и Пушкин —
и не позволяй опять удрать,
твоя чудесная игрушка
не прочь сама в тебя играть.
Поджав колени к подбородку,
весь белый свет собой затмив,
смеётся, натянув футболку
до самых пяток наливных.

* * *

Смотри, она по воздуху идёт,
она идёт, идёт, а не летает,
он провисает под её шагами,
он прогибается, он тоненько поёт.
И песня из-под облака плывёт,
и лёгкая собака подлетает,
и купидон замёрзший замирает,
он вкладыши из жвачек вынимает,
он облака обклеивает низ,
вот только не дари ему «Love is...»,
он юмора, уввы, не понимает.

Ну что ты смотришь — старый идиот?
У облака как у мастифа морда,
скажи ей: «Нынче чудная погода!» —
пока она по воздуху идёт.
Пока она не снизошла с моста,
пока она не выбрала тропинку,
которую мастиф твой протоптал,
скажи ей: «Нынче, право, красота:
собака, дерево, фонарь, блондинка...» —
пока по воздуху скользят её ботинки:
«Смотрите, это облако как дом!» —
пока не отвернулся купидон,
чтобы наклеить глупые картинки.

* * *

Эти длинные-длинные, эти ситцевые облака,
это солнце, что пело вам,
эта девочка сделана из сгущённого молока,
до чего она белая!

С этикеткой джинсовой Сухонского МК,
с голубою заплаткою,
эта девочка сделана из сгущённого молока —
до того она сладкая.

Мутный берег кисельный плывёт и дрожит,
и над кухней походною
вьётся сладкий дымок, точно старенький джин
с голубою бородкою,
и спускается вниз, где густеет вода,
сквозь верёвки и колышки,
где её для тебя, как всего и всегда,
остаётся на донышке.

* * *

Ты мне говоришь: посмотри, у зимы в рукаве —
невзрачный зайчишка, растрёпанный мех — балахон.
Что можно почувствовать в этом, прости, барахле,
застёгнутом, тесном и толстом, как синтепон?

Ты мне говоришь: посмотри, в рукаве у зимы —
бельчоночий хвостик, цигейка, кусочки ватина,
а девочки в стрингах всё время возбуждены,
не так, чтоб мешало, но, в общем, вполне ощутимо.

Затянуты ляпочки, город как коридор,
никак не понять — она их целует или уже кусает? —
вот выпал из рукава перетрухнувший зайка
и убегает, белый, во весь опор.

* * *

Ну же, крошечка-хаврошечка, красота необычайная,
где та беленькая косточка глубоко в тебе внутри?
Прикоснёшься к ней легонечко, и она поёт печальное,
а пока её не трогаешь, просто тоненько болит.

Чтоб ни горе, ни злосчастье — аметистик фиолетовый,
никакой дурак не сунулся — золотой замочек — щёлк,
завернёт Данила-мастер нам с домофонною таблеткою,
разверни фольгу дрожащую, положи под язычок.

Потому что моя дудочка не поёт уже так жалобно,
дверь подъездная захлопнется, ворота, калитка, ставни,
я достану эту белую, эту евову-адамову,
эту тоненькую косточку и в себя её поставлю.

* * *

Я не ангел небесный, а тёмный разбойный тать,
между пальцами сцепленными — драгоценный твой волосок,
я пришёл разбить твоё сердце и немного себе забрать,
мне не нужно целого — всего лишь один кусок.

Это просто волшебная сказка — не игра или что-то вроде —
с девятью кошачьими жизнями, с золотым сердечком в кольце,
спрячь его под сорочек стопками в антикварном своём комоде
или в тапочке старой стоптанной на своём кружевном крыльце.

Потеряется и закатится в серебро столовое, в вилочки,
а когда уже всё напишется, то найдёшь его, слышишь, потом,
в детском парке в секретике девичьем
под зелёным стеклом бутылочным,
под засохшими незабудками и крапивницы мёртвой крылом.

* * *

у тебя в далёкой андоме, сказочной вытегре
в замке о семи окнах, едущем на дровах,
голубые половики, за сто лет повитертые,
и на гвозде чёрного тетерева убитая голова.
а у неё в том месте, куда прилетела дробина,
лёгкая выемка, маленькая щербина,
недопустимый смертельный дефект.
завтра в сельпо привезут конфет,
а то нечего давно почитать,
сказочную продавщицу зовут тетя свет,
ты выберешь глянцевою карамель или шоколадный офсет?
бери еле слышно поющее дерево, раны которого неглубоки,
и даже не думай о ноутбуке,
потому что где оно — электричество, свет —
во глубине каких утонуло веков?
пусть лучше тетя света отсыплет тебе светляков —
ползать по слипшимся строчкам сладких промасленных книг,
по сахарным их страницам.
вот полыхнёт зарница — зреет летучая рожь,
чуешь небесную дрожь, но никого не ждёшь.
только твои ресницы тонко, как капли, дрожат,
зрачки отражаются в светлячках, а светлячки — в зрачках.
что ты читаешь в волшебных очках
в самую тёмную ночь, в без светляков непроглядную темень?
может, ты почерк и мой разберёшь и приоткроешь двери?

* * *

пока кто-то там где-то там тебя поджидает,
у тебя на шее голубая рыбка живая,
голубая жилка живая.
я тебя слишком сильно к себе прижимаю,
но в тебе, как в воде, очень быстро всё заживает,
и любая вода под прозрачными плавниками,
не прикасаясь к тебе, сквозь тебя утекает.

голубая рыбка бьётся, дрожит, мелькает,
её можно поймать на сбившееся дыханье
невесомым выдохом, сохнувшими губами
или просто голыми, точно вода, руками,
отделив от других — всего лишь пока мальков,
её можно поймать, её можно поймать — легко.

рыбка, рыбка, чудесная рыбка моя,
голубая форель, серебро на солнце,
как не пораниться о тебя,
не уколоться?

* * *

Фотографического аппарата
вылетит птичка и сядет обратно,
белую вату и серую вату,
в небе положенную аккуратно,
точно в аптекарской склянке под гнёт,
то раскопает, то подоткнёт.

Вылетит птичка — останется лето
в брызгах из водного пистолета,
где ты стоишь, закрываясь от ветра,
в списке желаний настолько заветных,
что и русалке в фонтане драмтеатра
кажешься невероятным.

Птенчик

1.

Мне не найти тебя — город становится лесом,
сквозь черепичные крыши трава прорастает,
мой оловянный солдатик застыл у подъезда
у твоего — на своей пограничной заставе.

Вот он пошёл как по нитке, лампы — продольны,
дышит на руки замёрзшие, чувствует холод,
и проявляется медленно на ладони,
как полароидный снимок размазанный, город.

Он здесь поставлен — тебя не посмеют обидеть —
ангел-воитель, нет больше заставы картонной,
выцвели руки его, и лампы, и китель,
стёрся со снимка квадратного призрачный город.

Город становится морем — деревья качает.
Стой, оловянный мой, не отступи, мой бесстрашный!
Мне не найти тебя, разве — увидеть случайно
в старой беседке у тонущей пятиэтажки.

2.

Птенчик мой, птенчик, пташечка,
— кренился лёгкая палуба, —
бьётся под тесной рубашечкой,
бьётся, поёт так жалобно!
Над невесомой бездною
не удержать в горсти,
рвётся в силки небесные,
жалится: отпусти!

Вот над бездонной прорвою
замер на миг, паря,
видишь, там небо порвано,
видишь, остры края!
Точно открытка с видами,
берег, и над водою —
белое мясо куриное —
облако молодое.

3.

Как мне такое тебе достать?
Ну же — волшебное слово!
Пусть оно падает на асфальт —
лёгкое — невесомо,
вылетит мелкой птичкой,
птенчиком — под нажимом
небесного электричества,
простого непостижимо.

4.

Смотришь на город далёкого детства —
видишь какие-то мутные пятна:
грязные пятна площадки футбольной,
жёлтые пятна, зелёные пятна,
чувствуешь только, что жил по соседству, —
всё расплывается в этом пинhole,
на этой плёнке невероятной.

Если поставить их по порядку:
жёлтые пятна, зелёные пятна,
грязные пятна футбольного поля,
пятна пыльцы на обеих ладонях,
пятна пыльцы на обоих коленях,

жирное пятнышко на обоях —
всё ещё более непонятно.

Но наступает новое утро,
где всё — взаправду, но — как захочешь,
не понарошку, а просто — мутно,
где ты хохочешь, весёлый зачинщик,
где ты смеёшься, коварный обманщик,
где одуванчика колокольчик
и колокольчика одуванчик.

5.

В этом закрытом чужом альбоме
будет единственно правильным
спрятаться в мутной на мониторе
фотке из летнего лагеря,
где у тебя очумительный вид,
где горизонт завалился,
где не болит, не болит, не болит,
ну или ты притворился.

Содержание

«Огромный сад, заросший сеткою-рабицей...»	3
«Сегодня, я вижу, особенно... Вижу особенно чётко...»	4
«Допустим, маленькая я, как ты, допустим...»	5
«Тёплое облако синее...»	6
«Эта маленькая пекарня, этот тонкий дух дрожжевой...»	7
«Вот и стали мы большими, вот, смотри, и стали...»	8
«Такие вот у них теперь проверки...»	9
«Худенький, маленький, третий — побойче...»	10
«Спотыкаясь у школы — не бывает, увы...»	11
«Как новогодний орех — серый, лежалый, прогорклый...»	12
«Коньками нацарапанный...»	13
«Такой мороз, что, коль придёт охота...»	14
«Ходить по замёрзшей воде всё равно что ходить по дну...»	15
«Городишко захолустный: винстон лайт да телик...»	16
«Мелкий берег, осока, коряги...»	17
«На этой земле есть его отпечаток...»	18
«утоли пепси-кола его печаль...»	19
«Там, где прячется солдат в голубые ели...»	20
«Чуть дребезжа на ухабах и кочках...»	21
«Дура-дура-дурачок...»	22
«Впереди бежит собака, а за ней идёт отряд...»	23
«Девочки идут на лыжах...»	24
«Я думала, их уже не существует...»	25
«Река собирает молочные пенки...»	26
«Дремлет телёночек му-шоколадный...»	27
«Вдруг в раю пошёл снег. Невесомый, крахмальный...»	28
«Этот дед — он ёлку не наряжает...»	29
«Спит Адам в саду соседском...»	30
«О, маленький вертеп! Навертено...»	31
«Стоят, сполна всего помыкав...»	32
«В храме на Покровке много лет назад...»	33
Баба Маня	34
«На бумаге в печати офсетной...»	36
«Непреклонная, корабельная...»	37
«Бомбардировщик пузатый...»	38
«Хорошо ли, плохо ль за морями...»	40

«И открылась в сердце дверца...»	41
«Каждый рыбак сидит на своём сундуке...»	42
«Вот он, волчина морской, держит рукою трёхпалую...»	43
«На самолётных полосах...»	44
«Город как нарисованный...»	45
«Смотреть на оттаявшую реку...»	46
«Я, говорит, в этом небесном баре...»	47
Две реки	
1. Римская	48
2. Египетская	49
«След самолёта — ребристый...»	50
«Ну вот они, твои поводыри...»	51
«На жёсткий мат идёт мягкий мат...»	52
Шепчет что-то своей кузине...»	53
«Когда, когда приснится это лето...»	54
«это не просто считалка, игра...»	55
«точно карлик злой, этот мальчик злой...»	56
«голубое-голубое...»	57
«Где два кота в кустах дрались...»	58
«теперь твоя душа, как бабочка, легка...»	59
«Ночью приснится тебе музей...»	60
«Когда твоя девушка спит, то её обнимает лисёнок...»	61
«Её намеренья прозрачны...»	62
«Смотри, она по воздуху идёт...»	63
«Эти длинные-длинные, эти ситцевые облака...»	64
«Ты мне говоришь: посмотри, у зимы в рукаве...»	65
«Ну же, крошечка-хаврошечка, красота необычайная...»	66
«Я не ангел небесный, а тёмный разбойный тать...»	67
«у тебя в далёкой андоме, сказочной вытегре...»	68
«пока кто-то там где-то там тебя поджидает...»	69
«Фотографического аппарата...»	70
Птенчик	71

Книги, выпущенные и планирующие
к выпуску в издательстве «Воймега»:

Ольга Нечаева «Птичье молоко» • **Алексей Тиматков** «Воздушный шар»
• **Андрей Чемоданов** «Совсем как человек» • **Всеволод Константинов**
«Седьмой путь» • **Александр Сорока** «Тутырь» • **Александр Максимов**
«Новый год-II» • **Александр Переверзин** «Документальное кино»
• **Михаил Свищёв** «Последний экземпляр» • **Мария Тиматкова**
«Настоящее имя» • **Светлана Бунина** «Удел цветка» • **Ната Сучкова**
«Лирический герой» • **Андрей Щербак-Жуков** «Дневник наблюдений
за природой» • **Денис Новиков** «Виза» • **Ирина Ермакова** «Улей» •
Ян Шенкман «Скоро придёт конец птице, оглохшей от собственного пения»
• **Григорий Кружков** «Новые стихи» • **Александр Тимофеевский**
«Размышления на берегу моря» • **Андрей Василевский** «Всё равно» •
Игорь Меламед «Воздаяние» • **Инга Кузнецова** «Внутреннее зрение»
• **Лета Югай** «Между водой и льдом» • **Вадим Муратханов** «Испытание
водой» • **Андрей Василевский** «Ещё стихи» • **Юлиана Новикова**
«Песок» • **Иван Волков** «Стихи для бедных» • **Юлий Хоменко** «Восьмое
небо» • **Светлана Хромова** «Память воды» • **Сергей Королёв**
«Повторите небо» • **Андрей Василевский** «Плохая физика» • **Андрей
Чемоданов** «Я буду всё отрицать» • **Ната Сучкова** «Деревенская проза»

Некоторые из этих книг можно приобрести в магазинах:

Книжная лавка Литинститута, Тверской б-р, д. 25

«**Фаланстер**», М. Гнездниковский пер., д. 12/27

«**Книги в Билингве**», Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5

«**Гилея**», Тверской б-р, д. 9

Ната Сучкова. Деревенская проза.

редактор: А. Переверзин

вёрстка: Н. Крутова

корректор: О. Тузова

автор фото на четвёртой странице обложки — Л. Чиканова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru; alkonost@inbox.ru

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Формат 60х90 1/16

Тираж 500 экз.



Ната Сучкова родилась и живёт в Вологде. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книги «Лирический герой» (2010). Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Октябрь», альманахах «Вавилон», «Илья», «Алконостъ» и других изданиях. Лауреат Малой премии «Московский счёт» (2011).